



Эта повесть посвящается моему отцу, Николаю Яковлевичу Седогину, ветерану Великой Отечественной войны, он является ее главным героем. А также той неторопливой жизни русской деревни, которая уходит безвозвратно в прошлое. Уходит самобытный уклад, основанный на крестьянском труде в общении с природой, уходит живой, образный русский язык простых деревенских людей.

Эта жизнь была некогда колыбелью для многих поколений, выросших и воспитанных духом соборности, единством перед лицом трудной жизни и трагических событий двадцатого столетия.

I

Снега были большие в средней полосе России в пору моего детства. «Много снега – много урожая», – говорили взрослые, а нам, ребяташкам, раздолье: налаживали санки, самодельные лыжи и катались прямо с крыш изб, ставших настоящими горами за одну ночь; прыгали с бревен обескровлен-

ного амбара и тонули в снегу по самую грудь, теряя галошу, а кто и валенок. За это сильно нагорало от отца с матерью: теплые вещи береглись особо и передавались по меньшинству братьям и сестрам, а потом ближней и дальней родне...

В избе едва брезжит свет, дышится сухо и прохладно, печь еще не разогрелась. Отец с кем-то громко переговаривается у двора. Я вскакиваю и как ястреб слетаю с печи.

– Ты чего, Коля, как угорелый? – спрашивает мать, выглядывая из чулана.

– А что отец делает?

– Снегу за ночь намело, вот отец с Серафимом Прокопичем откапывают дверь на улицу. Теперь все машины встанут, харчей из района не жди, и керосин на исходе, ох, господи...

Я тороплюсь одеваться.

– Куда это? – настороженно спрашивает мать.

– Пойду откапывать дверь.

– Да ты в снегу утонешь. Спи, пока твердая дорога будет, вон, глянь как Сашка и Аннушка.

– Не хочу, они маленькие, – отвечаю я.

– А ты большой! А не хочешь спать, пей молоко, оно пока коровье тепло держит.

Мать выносит из чулана корчажку и наливает молоко в кружку.

– Я еще не заработал, – говорю я, как отец.
– Ну-ка, пей сейчас, а то отцу доложу, что не слушаешься.

Я беру в руки теплую от молока кружку и пью...

От двери к уличной стезе ровный коридор, метра четыре длиной. Отец лопатой ровняет его снежные стены. Он в овчинной черной шубе, в овчинной шапке с отогнутыми вниз ушами, темен лицом, только глаза и зубы светятся.

– Помогать пришел? – улыбается он мне.

Откопав свою избу, мы идем по хутору. Отец и Серафим Прокопьевич черенком лопаты стучат в стенку бабке Бирючихе.

– Ты нынче не задыхалась еще?

– Живая. Отройте меня, я вам поднесу, – кричит чуть слышно бабка Бирючиха.

Они отрывают снег, а Серафим Прокопьевич нарочно громко кричит:

– Пойдем за попом, Яков, она померла!

– Живая, анчихрист, живая я! – шумит из избы бабка Бирючиха и стучит в окно, а я бегаю вокруг отца, валяюсь в снегу и кричу что взбрeдет в голову...

Потом отец берет длинный шест, и мы идем искать колодец, я неотступно следую за ним, ныряя в его следы и то и дело цепляясь за его шубу...

Наступают рождественские морозы. По ночам тишина, на дорогах помет лошадиный стреляет, лед на озере Духовом промерзает в метр толщиной. А днем проглянет солнце, согреет воздух, снег помягчает – вот в это самое время рыба сгорается, как говорят мужики. Рождественские загары – это настоящий праздник на озере Духовом...

Рыба мается под толщью льда, бьется, ищет отдушину, чтобы глотнуть воздуха для продолжения жизни. А перепад от мороза к теплу – первейшее знамение; собираются все мужики хутора, и три дня идет подготовка к ловле рыбы, томят ее, ждут момента... работа идет жаркая: разгребают снег, долбят лунки, делают кадушки из льда – такие же лунки, только не до воды, пробивают желоб от лунки до кадушки метра в два длиною, и... приходит особо приметная ночь – а ловят всегда ночью – для самого главного праздника...

Вечером заходит к нам Серафим Прокопьевич. Он длинен, костист и сухощав, как колодезный журавль, против своей жены – толстой и необхватной, как сруб колодца. Он появляется из белого клуба морозного воздуха, нагнувшись, переступает порог, чтобы не ушибиться о притолоку, снимет шапку и весело говорит отцу:

– Ну что, готов принять дар, Яков Михайлович, нынча на Духовом рыба пойдет?..

– Оскудели зело, ей и спасемся, – отвечает так же весело отец, – царь забудет, а бог помнит.

Я сижу на сундуке, гляжу на отца, а сердце мое замирает. Очень мне хочется не отставать от него. Он надевает ватные штаны, шубу, берет топор, лопату, подсака и говорит:

– Присядем, опомнимся.

Серафим Прокопьевич садится на лавку, широко расставив длинные ноги в обвислых толстых штанах, мать рядом со мной на сундук, а отец на скамеечку у печи под Сашкой, который выглядывает из-за занавески. Аннушка давно спит.

– Ну, пойдём, – говорит отец, вставая, крепко нахлобучивает шапку и завязывает ее уши под подбородком.

– Пап, возьми и меня с собой, – в волнении вымаливаю я. Мать только руками всплеснула, а отец говорит:

– Куда тебе, сынок, ты еще мал да худ, тебя мороз проберет, и ты заместо рыбы на льду околеешь.

– Во мне сердце бьется и кровь горит, возьми!

Отец видит, что я решительно говорю, и глядит на Серафима Прокопьевича, потом на мать.

– Ну, ладно, поглядим. Одевайся потолще, чтобы жар не уходил.

Слово отца было твердое. Мать никогда не перечила ему. Я быстро одеваюсь в ее валенки с галошами, пальтишко у меня длинное, до пяток достает, натягиваю старую отцову шапку овчинную, мать подает мне свои варежки, и я стою. Отец оглядывает меня и задумчиво молчит.

– Та-а-ак...

На стене, на гвоздике, висело длинное с вышивкой петухами полотенце. Он снял его, перепоясал меня два раза кругом и узлом на боку завязал, а сам приговаривает:

– Вот так-то оно будет лучше, чтоб ветер не остудил грудь.

Поглядели они на меня с Серафимом Прокопьевичем и рассмеялись. Мать тоже смеется от души.

– Ну, Хвилипок, ну как есть Хвилипок...

Выходим на улицу. Воздух сухой, морозный, чистый, тишина кругом, скрип шагов далеко слышно. Луна в небе сияет, и светло от нее, как от лампы, – далеко видно; чернеют дома, плетни, фигуры людей. Идем друг за дружкой, я позади, за отцом. Мороз за щеки щиплет, ветер в спину подталкивает. Дошли до озера. Отец место давно приглядел. Рыба косяками ходит, если попадешь на стаю, значит, улов будет хороший. Народу на озере полно. То там, то тут костры горят на снегу. Рыбалка уже началась. Мужики разгоряченные движутся, с места на место переходят; у расторопных не одна, а две ловушки, а то и три...

Отец принялся за дело, а я все ловушки обежал и отцу докладываю:

– У Степана Журкина более всех рыбы, во какие на льду лежат, – показываю я руками. Отец меня утешает.

– Потерпи, Коля, сейчас и мы с тобой на уху поймаем.

Рядом у костра смех. Мужики толпятся, руки над огнем греют, а Ваня Кысок к костру спиной стоит, шубу на отлете держит, а зад над огнем отключил – штаны сушит.

– Кысок вместо шуки в лунку попал, – смеются мужики, – во как наподогревался.

– Ты дюжа-то не старайся, а то вкрутую сварить!..

Все дружно хохочут, и меня смех разбирает, хоть я и не понимаю ничего. Смеюсь вместе со всеми, а сам бегу назад, не терпится поглядеть, как отец первую рыбу поймает. Прибегаю, смотрю, а на льду уже несколько щучат лежат. Отец подсак заводит, еще поджидает. Щука вперед рванулась и напрямиком в кадущку с темной ледяной водой. Отец в кадущку подсак и рывком щуку вместе с кашей льда на снег выбрасывает. Она изгибается, переворачивается.

– Это твоя, Коля, хорошая, – весело говорит отец. А по желобу другая темную спину сгибает и от стенки к стенке мечется. Подбегает тут Серафим Прокопьевич, увидел рыбу на снегу и кричит:

– Ого! А у меня один щуренок влетел и все, пойду в другое место.

– Руби рядом! Тут, видать, у них собрание, – кричит ему отец, – я тебе сейчас помогу. Коля, держи-ка подсак, привыкай к ремеслу.

У меня дыхание захватило. Взял я подсак, а он тяжелый, обледенел, держу, жду рыбину. Юркнула одна, в кадку нырнула. Я подсак завел, да не проверну и вынуть боюсь. Меня робость взяла, стою у кадки.

– Ты чего, перемерз, Коля? – кричит отец.

– Щука большая, я с ней не совладаю!

Отец топор бросает и ко мне бежит. Щука на дно идет, думает на глубинку удрать, но только носом об лед бьется. Отец подсак оббил, щуку поддел и на лед...

Потом и у Серафима Прокопьевича рыбалка пошла. Отец поглядит на меня, руки пощупает:

– Не замерз, Коля?

– Нет, – отвечаю, – не замерз. Некогда мерзнуть.

– Обожди, сынок, мы сейчас костер разожжем...

Тут рыба утихомирилась, роздых дала. Отец с Серафимом Прокопьевичем костер развели, меня тузить по очереди стали для согрева и над костром велели руки держать, а сами окоченевшую рыбу по мешкам раскладывать. Мне не стоит на месте, я догадался ледок разбивать: желоб морозец схватывает.

– Молодец у тебя Колька, в жизнь с соображением

идет, – говорит отцу Серафим Прокопьевич, а я сильнее стараюсь.

Улов оказался хороший. Целый мешок рыбы отец домой на горбушке принес...

II

Тот год оказался для меня самым большим и длинным. Весной отец собрался в город. Его сманил кум Иван, живший в Липецке с голодного сорок девятого. Отец решил устроиться, поработать на заводе, приглядеть жилье, а потом вернуться за нами...

Я повзрослел и остался дома за отца. Уехал он утром, когда мы с Сашкой и Аннушкой спали. Меня это событие сильно огорчило, и чувство оставленности, одиночества и обиды продолжалось долгое время. Чувство это вскоре оправдало себя... Все у нас изменилось после отъезда отца. Потом, вспоминая время своего радостного и горького детства, я невольно разделял его этим важным событием и говорил:

– Это было до отъезда отца, а это после его отъезда...

Я стал хозяином. Мы с матерью вскапывали огород, чтобы земля дышала, разбрасывали навоз, который носили в ведрах со двора; перебирали оставшуюся от зимы картошку, почуявшую весну и начавшую расти, отдавая соки впустую. Потом сажали ее в землю, пропальывали, вырубая просенику, лебеду, повилику. Потом собирали сорняк в вязанки, наваливали на головы и несли на посушку на гумно, чтобы ничего не пропадало, а обращалось в добро...

Я работал и думал о будущем. Оно не казалось мне беззаботным, как раньше, когда дома был отец, и я не хотел обманывать себя – это лето не будет праздничным и радостным... Зато потом, думал я, жизнь в городе будет одним сплошным праздником с белым хлебом и калачами.

За Сашкой и особенно за Аннушкой, которая была совсем маленькой, нужны были мои глаза. На работу в колхоз мать уходила чуть свет. Утром ели пышки с молоком. До обеда я из тряпочек делал Аннушке кукол, строгал палочки, чтобы она тешилась и не плакала. А Сашке из репьев лепил машины. В полдень мать прибежала домой, кормила нас горячей картошкой и укладывала Аннушку спать, потом снова убегала и приходила, когда солнышко закатывалось за Падовский лес. А вечером, вчетвером, мы ждали отца и мечтали про город.

– А что там, в городе? – спрашивал я мать.

– В городе электричество, – говорила она, качая Аннушку на руках, – а сейчас от электричества вся жизнь идет. У нас свет от локомотива исходит, и его хватает только для сельсовета, в нем не должно

быть мрака, и четырех ближних домов, а в городе в каждом доме свет и тепло от электричества.

– А откуда же столько его возьмется? – удивляясь, спрашивал я.

– Это, наверное, свет от солнца. Его днем набирают, а ночью раздают, – говорила мать, зевая и укладывая Аннушку...

Я представлял сияющий и теплый город, светящийся во мраке, как на небе солнце...

Сашка забирался на печь, касался подушки и засыпал. А я изо всех сил старался не спать. Мать, прибираясь, ходила по избе, что-то шептала, потом наконец задула лампу и легла на кровать рядом с Аннушкой и сразу затихла. Это она уснула от усталости. Я крадучись, чтобы не разбудить ни ее, ни Сашку, сполз с печи и пошел в сенцы. Дверь закрипела. Из сеней вышел в дверь на улицу, на крыльцо. У дома Дуни Воробьихи опять играют в балалайки, она очень любит их слушать. Белеют в темноте под густой березой платья девок. Они запевают частушки и выплясывают. Я сел в угол крыльца на дубовую лавку и замер. Они и не догадываются, что я их всех знаю по именам и по-уличному и какой парень с какой девкой залётится. А балалаечника Васю Кота как увижу на улице, не могу глаза отвести: нос прямой, глаза темные, на всех сверху глядит, белая рубаха, серый шевиотовый костюм и брюки навыпуск, на сапоги, как у цыгана.

*Говорят, я боевая,
Я, конечно, атаман,
На горячий камень встану,
А залетку не отдам.*

Это Васькина Ленка Пшипшиха заплясала перед ним. А он ей отвечает. Я его не вижу, а страсть как охота посмотреть, но девки все время вертятся, заслоняют его.

*А я милую свою
Узнаю по платио.
На ней бела платия,
Вот моя симпатия.*

Ленка радуется и поет под Аньку Кривую:

*Ой, подружка моя,
Давай садики садить,
Чтобы нашим ухажерам
Было весело ходить.*

А у кривой Аньки нет ухажера. Она дюже костлявая, а парни таких не любят. Она поет, что «не будет их садить», потому что «к ней некому ходить». Все

смеются, а мне ее жалко. Сейчас все девки с парнями пойдут, а она одна останется.

Вася перестает играть, разговаривают. Сейчас будут расходиться. Я лезу под лавку. Мимо нашей избы пойдет Анька Кривая. Потянулась медленная страдания, я ее больше мотани люблю. Она грустная, она разводит девок с парнями в разные концы, а мне страсть охота поглядеть, куда она их разводит...

*Не гляди в окно,
Се-да-я,
Твоя дочь со мной
Стра-да-я...
Ай-я-я-я-яй...*

Все задавленно смеются. Это Васька проходит мимо Ленкиной хаты. Я выбрался из-под лавки, потому что Анька прошла, шмыгая по песку ногами, и услышал, как отворилась дверь в сенцы.

– Коль-ка, – это мать позвала меня встревоженным голосом, – ты где есть?

– Тут я.

– Да ты чего здесь делаешь? – она вышла в белой простой рубахе, босиком. – Час глубокий, а ты сидишь.

– Мам, это я так для себя на двор вышел, – неуверенно начал было я.

– Ох, да я думала, куда ты в ночь убежал. А ну заходи! Вчера в эту пору на двор, сегодня тоже. Надо про город думать и к немцу внутри привыкать, а ты тут сердце привязываешь, лезь на печь.

Я забрался на печь и долго не мог заснуть от непонятного волнения...

На другой день мы с Сашкой были в сарае. Он держал доску, а я пилил. Пила лучковая, отец ею работает. Она великовата для нашего дела.

– Кольк, а балалайка должна быть пузатая?

– А мы сделаем плоскую. Пусть она будет не фабричная, лишь бы играла, – ответил я, а сам подумал: эх, папка бы догадался да купил и привез новенькую, фабричную балалайку, а ботинки мне не нужны, босиком похожу.

– Постой, – сказал я Сашке, – погляжу, где Аннушка да не идет ли мать.

Аннушка возилась в земле на огороде, а мать не пришла еще. Наконец балалайка из доски была готова. Я весь взмок от работы.

– Дай поддержать немного, – попросил Сашка, вертя головой. Я протянул ему балалайку, а сам поглядел со стороны. Нижний край неровный вышел.

– А почему она не играет? – помолчав, спросил Сашка.

– Да надо же к ней струны, колки приделать, хотя бы деревянные, кобылку тоже, – пояснил я.

232 *Геннадий Рязанцев-Седогин*

– Кобылку мы давай украдем, – запальчиво предложил Сашка.

– У кого?

– У деда Максима, у него их в конюшне полно.

– Ничего ты не понимаешь, сэр, – так говорит Васька Кот, – кобылка – это такая деревянная подставка под струны, понял?

– Понял...

Потом мы искали в сундуке, густо пахнущем нафталином, нитки и прикладывали их на место струн, но они рвались.

– Эх, настоящих бы, железных, струн добыть, – с сожалением сказал я и вздохнул. Мы спрятали балалайку в сено, чтобы не видела мать...

Не заметили, как быстро пролетело время. Вдруг раздался глухой гул грома, потянул свежий ветер, и мы увидели, как темная туча надвигается со стороны Падов в нашу сторону. Ветер усилился, померкли и закачались верхушки яблонь и кустов смородины. Туча разрослась, медленно закрыла солнце, кругом стало темно, только где-то вдали пробивались косые лучи и освещали поле, затем совсем заволокло небо серой пеленой, нарастал шум дождя... То в одной стороне, то в другой засверкали молнии, гул грома прорывался все с большей силой, и мы почувствовали, как тяжелые крупные капли дождя падают нам на лица и руки...

Я вспомнил про Аннушку, про наседку с цыплятами и побежал с криком:

– Цыпа, цыпа, цыпа...

Рябая наша наседка завохчала, зазывая своих цыплят. Они замелькали по земле меж подсолнухов и шубой вбежали за ней на погребец, дверь которого я открыл для них. Я везде искал Аннушку, а капли дождя все гуще падали с неба. Сашка бегал за мной и только мешался. Наконец я увидел сестру: она спала в картофельной борозде, что с ней часто случалось.

– Аня, Аннушка, – будил я ее, – бежим домой, а то гром нас убьет и мы в город не уедем.

Она села, ручками протерла глаза, и все лицо вымазала грязью. Я схватил ее за руку, и мы побежали в избу, толкаясь, переступили порог сеней, закрыли дверь, как вдруг раздался резкий, оглушительный раскат грома. Мы присели, а Аннушка затряслась и заплакала. Мы выдержали мгновение и забежали в дом. И тут по стеклам с шумом ветра как из ведра хлынул дождик – в это время вбежала вся мокрая мать; волосы темными прядями висели вдоль ее лица.

– Ох, насилу перебежала хутор, – сказала она, увидав нас всех вместе, – Коля, наседку с цыплятами загнал?

– На погребце сидят.

– Не заблудил ли какой, ты не считал?

Хоть я счет еще не знал, но мать меня по цыплятам до двадцати научила.

– Нет, не успел.

Мать переоделась, собрала на стол, и мы сели обедать, чтобы благополучно дожить до вечера. Раскаты грома все удалялись, тучи уходили на сторону, становилось тише и светлее, потом снова засветило солнце, дохнуло свежестью и теплом...

На другое утро я сквозь сон услышал знакомый голос.

– Эй, бабы! Тряпки, лохмотья собираем. Все что в г....., несите ко мне.

Это Костя-лохмотник из Усмани от потребко-операции. Я вскочил и начал искать в избе тряпки, но попадалась одна мелочь, за которую ничего не выменяешь. А голос Кости уже удалялся от хаты. Я приподнял тяжелую крышку сундука, схватил большую материну шаль, Сашкино пальтишко и побежал догонять гарбу лохмотника.

– Дядя Костя! – закричал я. – Струны для балалайки есть?

Костя, отклоняясь назад, натянул вожжи, его кожаная куртка распахнулась.

– Тпру-у-у! – кричит он и поворачивает свое загорелое и обветренное лицо, улыбается, сверкая золотыми зубами, прищуривает темные масляные глазки и, толкнув кнутовищем козырек картуза вверх, говорит:

– Есть струны, а что там у тебя, мальчик?

Я подал ему цветную материну шаль с кистями и старенькое Сашкино пальтишко. Костя вытянул тонкие губы и рассмотрел вещи, потом, озираясь по сторонам, снисходительно сказал:

– Ну что же, вот тебе катушка струн, – и он протянул мне настоящие фабричные струны, а вещи под самый воз, под тряпки спрятал. Я, не чуя земли под собой, побежал домой.

– Сашка, струны для балалайки есть! – закричал я, влетая в избу.

– А где ты их взял? – Сашка сидел на печи и тер глаза.

– На тряпки у Кости-лохмотника выменял.

Я поддел ножом конец струны и освободил его из деревянной прорези. Он выскочил, струны, как пружина, размотались и рассыпались по полу. И тут вошла мать с платком в руке и увидела, что мы с Сашкой возимся на полу. Она ахнула.

– Где взяли?

– Это он променял за тряпки, – Сашка ткнул в меня пальцем. Мать взяла меня за руку, а я сжался – ни жив ни мертв.

– Говори, чего отдал? – она испытующе поглядела

на меня. Слезы побежали из моих глаз, и я сквозь зубы выговорил:

– Шаль и пальто Сашкино.

– Ах! Окаянный тебя возьми. А ну, собирай струны скорей!

Она сама встала на колени и начала собирать и наматывать струны на катушку. Потом повязала платок и вышла из дома. Костя-лохмотник стоял на другом планте. Мать побежала через гумно, а я за ней.

Около гарбы толпились бабы и ребятишки. Мать растолкала толпу и обратилась к Косте.

– Здравствуй, Костя, – сказала она, переводя дух, – разве можно так делать, как ты делаешь? Ты что же мальчонку моего обманул, забрал новую шаль, да еще пальтишко на пристяжку за катушку струн.

– Ничего не знаю, – буркнул Костя, не глядя на мать.

– А ну, забирай свои струны, крохобор, – гневно закричала мать, – и отдавай мои вещи!

– Я не видал твоих вещей, – отмахнулся Костя.

– Не видал, сейчас увидишь, – с недоброй решимостью проговорила мать, схватила тряпки с гарбы и начала разбрасывать их по дороге. У меня замерло сердце. Бабы кругом захохотали. Костя встал с облучка и одурело завизжал:

– Что ты делаешь, дьявол-баба, сейчас отдам твою шаль!

– Давай, а то все добро твое по дороге разбросаю,

– успокоенно сказала мать.

Костя нагнулся, повозился на дне гарбы и бросил матери шаль и пальтишко.

– Возьми струны-то, – протянула ему мать. Я чуть не плакал, не видать мне струн как своих ушей.

А Костя зло произнес осипшим голосом:

– А-а-а... возьми ты их себе, окаянная душа!

– Не хочешь? На, Коля, – и мать отдала мне спутанную струнами катушку.

Я в тайной радости шел за матерью следом...

Сашка встретил нас на крыльце. В руках он держал балалайку.

– Вот оно что! – понимающе сказала мать и взяла балалайку в руки. – Да она же играть у вас не будет.

Я схватил мать за юбку.

– Мам, купи мне фабричную, как у Васи Кота!

Она ласково поглядела на меня.

– Да, Колюшка, на что же я куплю? Ты видишь, какие мы разутые и раздетые. Вот отец приедет, забрет нас в город и там тебе купит...

Я гляжу, а по планту в обратный путь едет Костя-лохмотник. Его тряпичный воз заметно вырос. Из дома вышел сосед Кузьма Гоголев и пошел широким шагом навстречу подводе. Он среднего роста, кудрявый и большоголовый, с отеками на скулы щеками.

– Костя, кота возьмешь?! – закричал он издали.

– Чего ты на него рассерчал? – по-свойски спросил Костя.

– Да вот цыплова сожрал, молоденский. А теперь расчухал, он их всех перетаскает...

– Да, ну неси, – Костя натянул вожжи и остановился против хаты, – тпру-у-у...

Кузьма зашел в хату и вынес большого серого кота. Он сильно прижался к груди и, озираясь, мяукнул громко, утробно. Костя возился в телеге, чего-то искал. Кот вдруг пугано начал вырываться, но Кузьма потуже прижал его своими огромными ручищами. Костя достал оселок и деловито закричал:

– А ну, держи его крепче! – он ловко накиннул оселок на шею кота, – бросай, готова-а-а...

Кот повис на руке у Кости. Он привязал оселок с другой стороны гарбы за облучок. Кот уперся передними лапами в планку, глаза его закатились, он оучемело орал... На что Костя смотрел с безразличием. Привязав на смерть бедного кота, Костя сверкнул зубами, сказал «до свидания» и закричал победно:

– Ну, милая-я, поехали-и!..

Лошадь повернула шею и тронула с места.

Гад, живодер, зло подумал я и плюнул под ноги. На крыльце появился Сашка с нашим котом в руках.

– Уехал лохмотник? – испуганно спросил он. – Ох, а я страсть боялся, что он нашего Ваську заберет...

III

Однажды, когда мы легли спать и Сашка сопел рядом со мной на печи, в окно кто-то постучал. Мать встала, зажгла лампу, открыла дверь в сенцы и сказала, чтобы узнать человека:

– Кто тут ночью в люди ходит? – и вдруг выскочила за дверь. Это был отец...

Скоро они вошли в избу. Я тайком выглядывал с печи, а слезать боялся. Отец поглядел на спящую Аннушку, пощупал ее – цела ли она. Потом подошел к печи, откинул занавеску, и я скорее зажмурил глаза.

– Умаялись что-то, спят, – сказал он и отошел к столу, – тут гостинцы; крупы, мука, белый хлеб для ребятишек и арбузы. Ты их, Настя, в погреб отнеси, пускай в них холод войдет, а то они забродят внутри.

Мать сидела на лавке и молча глядела на отца. Она его дождалась и на минуту ослабила жилы. Он был какой-то большой, темный...

Потом они вышли на крыльцо и долго разговаривали. Мать часто, по-своему, тоненько озорно смеялась, как она всегда смеялась с отцом. Потом они легли спать и все шептались.

– Не то правду ты говоришь, не то нет, – мечтательно говорила мать, – что-то не верится... А как же

234 *Геннадий Рязанцев-Седогин*

мы все бросим, – возвысила она голос, – и дом, и корову, и землю нашу... где же мы молоко возьмем, где картошку... Ой, страшно мне, Яша...

– Как сестра твоя Верка живет, так и мы будем жить, – сказал отец. – Городские как живут, а их вон сколько против нас – дураков...

Потом мать рассказывала, как мы жили без него одни; рассказывала про меня, про Сашку и Аннушку, и я не заметил, как заснул...

Утром мы ели белые булки с молоком и глядели на отца, он сидел на лавке и держал на руках Аннушку.

– Пап, – робко спросил я, – а скоро мы поедем в город?

– Скоро, – улыбнулся он, – в городскую школу разума набираться пойдешь.

Мать глубоко вздохнула...

Потом к нам зашел Серафим Прокопьевич.

– Ну что, блудный сын, возвратился? – спросил он, переступая порог и снимая фуражку.

Отец поднялся ему навстречу.

– Возвратился, да не совсем, – ответил он. Они обнялись и сели за стол.

– Давай-ка, мать, ребятам сюрприз, да городскую на стол поставь.

Мать побежала и принесла то, что отец назвал сюрпризом.

– Ого, какие тыквы, – невольно произнес я.

– Не тыквы, сынок, а арбузы, – сказал отец, взял один, большой, полосатый, покрутил его в руках, постучал, взял нож и стал резать. Я глядел во все глаза. Толстая кожура хрустела, и на столе выстраивались в ряд розово-красные арбузные ломти, похожие на вечернее солнышко, тонущее в Падовский лес.

– Ну-ка, ребята, подходи, – скомандовал отец. Мы взяли по ломтю и начали есть сахарную, тающую во рту мякоть.

– Очень хороши при этом деле, – сказал отец и поднял стакан.

– Это что ж, по-городскому, что ли? – спросил Серафим Прокопьевич

– Точно, – ответил отец.

– Ну, давай по-твоему, – Серафим Прокопьевич тоже поднял стакан, а потом спросил, внимательно глядя на отца:

– Ну, что скажешь?

– Что скажу-то, – отозвался отец и как-то сурово задумался, – я теперь, брат, царь...

– Это почему? – Серафим Прокопьевич недоуменно поглядел на мать.

– А потому, что я стал рабочий человек! Для него, брат, правда открыта на земле, а остальные пока во тьме ходят...

– Это как же так?

– А вот как: ты погляди, какая премудрость, – рассуждал отец, – я пошел на завод, так? Восемь часов отбыл и дома. Садись, слушай диковину – радиоприемник. Один день отдыхай в неделю, что хочешь делай. Два раза в месяц приди, деньги получи. В магазин пошел – все есть: и что покушать, и во что одеться. Вот, брат, светлая жизнь!

– А мы, выходит, тут во тьме?

– Во тьме. И я во тьме был, работал за так и ничего не видел, и дети мои темные выросли бы... Сейчас вся жизнь для рабочего, и вся правда для него – вот к какому корню надо прививаться. Поедем и ты, Серафим, а то мне тебя будет жалко там, в городе; жизнь пройдет, а ты так и проходишь во тьме...

Серафим Прокопьевич нахмурился. Мы молчали и слушали отца. Он слегка покраснел от напряжения мысли...

– Сейчас, брат, крепко коллективный человеческий разум заработал. Вот ты думаешь, что движок нэтовский у сельсовета работает и свет от локомотива гонит? Нет, Серафим, то не движок работает, то мысль человеческая работает и световую электрическую энергию излучает. А сейчас, брат, вся жизнь от энергии исходит. Солнце на небе, а мозг у человека в голове... Человек мозгом познал, как световую энергию скапливать и на свою потребность расходовать. Я вот о чем последнее время думал, Серафим, в свободное время: растения напрямую от солнца энергию берут, а мы посредством их ее получаем. К примеру, арбуз, – отец взял в руки ломоть, – сейчас его поешь, воду выпустишь, а энергию в себе оставишь – ей двигайся и ей мыслишь, и с любым продуктом так... Или мясо поешь, в нем энергия держится от травы, которую корова щипала... А коль у человека корень есть – рабочий класс, сейчас, брат, осталось в человеке такое место найти, куда солнечную энергию подавать прямым, минуя продукты, как в растениях... Тогда, брат Серафим, в рабочем классе все главные вопросы жизни упразднятся...

– Как так? – вылупил глаза Серафим Прокопьевич.

– А так. Хлеб не нужно будет растить и есть его не нужно будет. Тогда остается одно рабочему человеку – прямой путь к познанию вселенной и всей жизни...

– А кто же на земле работать будет? – спросил обескураженный Серафим Прокопьевич.

– Землю распашут, чтобы растения не брали энергию. А главное – ель и сосну поспилят; зимой, понятно, с энергией трудно, чтобы больше и больше падало на долю человека, оставят растения только для памяти и красоты. Но это не сразу, конечно, – заключил отец, – темноты еще много, и, главное, она в людях живет...

– Мудрено и чудно, – сказал Серафим Прокопьевич.

– И мне чудно, а все к тому идет...

Все помолчали...

– А их когда возьмешь и как там жить будете? – указал на нас Серафим Прокопьевич. Аннушка потянула к нему ручки. Он взял ее с пола и посадил к себе. – Только когда фуражкой лицо заслону, тогда мимо пройду, – сказал он, улыбаясь Аннушке, – а то как узнает меня и не пропускает. Прямо берет за руку и веди ее, делай ей музыку, заводи пластинку.

– Подросла, я ее и не угадал, – сказал отец.

Аннушка что-то лопотала по-своему и пританцовывала на коленках Серафима Прокопьевича.

– Я вот Насте говорил вчера, – рассказывал отец, – пока я у кума Ивана, он меня прописал, в уличкоме его дружок... А теперь я частный домик приглядел. Отапливается так: электричество титан греет. Перезимуем, а к весне возьмем план и построимся. Эту хату продадим, корову... Там деньжонок подкопим, – рабочие люди-то так живут, я повидал...

– Ловко, – сказал Серафим Прокопьевич.

– Эх, Серафим, погляжу я на нее, потемнела вся, высохла за трудовень...

– Тут слух идет, Яш, – в надежде сказала мать, – колхозы в хозяйства объединят и вроде деньги платить будут; проселком столбы сваливают...

– Нет сюда возврата, – отмахнулся отец, – поехали, темный ты человек, – обнял он Серафима Прокопьевича, – а председателя мы вместе с печатью купим...

Они еще выпили и вдруг повеселели, начали шутить.

– Нет, Андрианыч, вот ты лучше мне Аннушку отдай, она мне дочкой будет. Моя-то Фекла попортилась.

– Нет, Аннушка моя, как хочешь.

– А вот твоя, а к тебе не пойдет.

– Нет, пойдет.

– А я говорю, не пойдет.

– Аннушка, дочка, иди к папе...

Аннушка глядела то на отца, – она от него успела отвыкнуть, – то на Серафима Прокопьевича и не понимала, что от нее хотят.

Отец взял со стола кусок арбуза и подал ей. Она потянулась к арбузу, ухватила его и начала есть, а отец взял ее к себе.

– Это ты арбузом заманил, а так она не пойдет...

Они долго игрались с Аннушкой. Она шла то к Серафиму Прокопьевичу, то снова к отцу, а мы все долго и весело смеялись над ними...

В избе потемнело, как будто собрался дождик, и мать вышла поглядеть за цыплятами.

– Скажи, Андрианыч, – таинственно сощурился глаза, спросил Серафим Прокопьевич, – а как быть рабочему человеку с основным продуктом?

– С каким это? – не понял отец.

– С бабой!

Отец озадачился, а потом они громко расхохотались...

– Эх, брат Серафим, поедем, я тебе приглядел такую царицу...

Вошла мать и сообщила, что собрался дождик.

– Не буробь, не буробь, Яков, а скажи, ты когда обратно?

– Нынча в шесть часов на Дрязги. Меня рабочий класс ожидает, а то я тут в темную почву врасту...

– Ложись, поспи, я тебя приду проводить. А сейчас у меня дела встали, – сказал Серафим Прокопьевич, и они вышли на двор.

Мы втроем доедали арбуз, мысленно мечтали о солнечном городе, который нестерпимо манил нас...

Вечером отец уехал по Мельской дороге на Дрязги...

IV

На другой день Аннушка хныкала, часто без причин плакала и не играла в свои тряпочки. Мать прибежала на обед, и я сказал ей об этом.

– Она и спала нынче плохо, – мать подняла Аннушку на руки, припала ухом к ее груди, чтобы послушать, легко ли ходит воздух. Потом нажала ей на щеки, заглянула в рот и сообщила, – глоточка красная, нужно вечером кашей погреть.

Аннушка смотрела и не понимала, что от нее хотят. Есть Аннушка отказалась. Мать, раскачиваясь, ходила с ней по избе, и она заснула и проспала до самого вечера. Пришла мать, наварила кашу, свалила ее в платок и обернула им Аннушке шею.

– Кулина говорит, что надо лук в керосине отмачивать и потом его прикладывать, он болезнь разбивает. А Марфуша велела медом снаружи и изнутри смазывать, а его, меда-то, и нету у нас, – приговаривала мать.

А ночью она не спала. Аннушка похрипывала, стонала и плакала... С утра мать побежала к фельдшеру, но его не оказалось ни в пункте, ни дома.

– Леликов в Пады вчера подался, да там и заночевал. Люба Сошинская заболела. Это теперь только к концу дня придет. Да у него лекарств-то никаких нету, одна хинина от лихорадки, – огорченно рассуждала мать, – ладно, нынче еще погреем, а завтра видно будет...

Ночью мать разбудила меня, подняла и приказала:

– Беги к дяде Серафиму, пускай за Леликовым

сходит, он теперь приехал. Скажи, что Аннушка жаром горит, я не знаю, что и делать.

Голос у матери был встревоженный. С ее постели слышалось трудное дыхание Аннушки... В избе тускло тлела лампа, громко стучали ходики на стене...

Я молча слез с печи, держась за задругу, надел штаны и рубаху, глядя, как мать мочит платок и остужает Аннушке ручки и ножки.

– Бежи, сынок. Все понял?

Я кивнул, вышел в сенцы и на крыльцо. На меня дохнуло ночной прохладой и запахом навоза, видно, уже выпала роса. У Журкиных на дворе брехала собака, ожидая чужого человека из темноты...

Дом Серафима Прокопьевича находился рядом, он стоял глухой и темный. Дорога мне была знакома, и я без боязни бросился бежать к крыльцу и через минуту уже влетел по ступенькам к двери, передохнул и робко постучал. Стояла тишина, казалось, что дом пуст. Я постучал сильнее. Отворилась дверь в сенцы, и послышались шаги.

– Кто тут есть? – грубым голосом спросил Серафим Прокопьевич. Я отозвался. Серафим Прокопьевич отодвинул засов, щелкнул крючком и отворил передо мною дверь в сенцы.

– Это ты, Колька?

– Да.

– Чего случилось у вас?

– Мать велела тебе, дядя Серафим, за Леликовым идти. У нас Аннушка огнем горит, а мать не знает, что делать.

– Ступай домой, скажи матери, я сейчас приду, – ответил Серафим Прокопьевич, и я побежал обратно...

Мать сидела на кровати, держала Аннушку на руках и, раскачиваясь, подпевала.

– Сейчас дядя Серафим придет, – взволнованно сообщил я. Мать кивнула головой. Я сел на лавку, не зная, что дальше делать, мне все казалось тревожным сном.

– Лезь на печь, ложись, – прошептала мать.

Я послушался, разделся и лег рядом с Сашкой, он спал и ни о чем не ведал...

Я сверху глядел на мать и то терял ее, погружаясь в темноту, то снова видел – тяжелые веки сами закрывали глаза, но я ждал прихода дяди Серафима и старался опомниться. Когда я вновь приподнял веки, то увидел Серафима Прокопьевича возле матери, они полушепотом разговаривали. Потом он ушел, а я, не одолев себя, заснул...

Но вдруг пробудился снова, Аннушка плакала во весь голос. В комнате, кроме матери и Серафима Прокопьевича, были еще какие-то люди, они что-то делали с Аннушкой, отчего она плакала. Я не понимал, что они делают, и снова уснул...

Утром меня разбудила мать. Я открыл глаза и в тревоге приподнялся. Аннушка держалась ручками за спинку кровати и подпрыгивала, щечки ее краснелись, она повизгивала и улыбалась.

– Выздоровела? – спросил я.

– Да вроде получшало, а Серафим Прокопьевич бригадиру за лошадей пошел. Леликов наказал Аннушку в Дрязги везти, в больницу. А прямо говоря, я что-то не знаю, может, повременить, глянь на нее.

Аннушка веселилась и лопотала. Мать нарядила ее в новое платьице в голубой цветочек и в розовую кофточку.

У дома остановилась телега. Я увидел в окошко, как лошадь мотала головой. В дом вошел Серафим Прокопьевич.

– Собрала? – спросил он.

– Серафим, я что-то сомневаюсь, – вдруг заплакала мать, – может, не везти ее, глянь, ей как будто получше.

– Не сомневайся, а делай, как Леликов сказал, он больше нас с тобой понимает. У него никаких средств нету, а вдруг что случится. Пальтишко и одеялко возьми в дорогу, – приказал он.

Мать решительно вытерла слезы и торопливо заговорила:

– Коля, сынок, гляди тут за Сашкой, за цыплятами. Ешьте картошки в чугуне, молоко в корчашке пейте, понял? Да со спичками не балуйтесь, а то все сгорит и мы голые будем...

Серафим Прокопьевич постелил на телегу сено, подержал Аннушку, пока садилась мать; сел сам, дернул вожжи, лошадь взмахнула хвостом и тронула с места; телега скрипнула и подалась, мать грустно поглядела на меня и покачала головой...

Сашка долго не просыпался, и я решил его будить. Я залез на печь, растолкал его и сообщил, что мы дома одни. Сашка горько заплакал и отвернулся от меня. Я слез с печи, как отец, ходил по избе и говорил:

– Вставай, будем белый отцовский хлеб с молоком есть, а то сил нет терпеть, когда дядя Серафим мать и Аннушку домой привезет.

Сашка слез с печи и молча сел на лавку к столу. Мы поели и забыли про них думать, игра в машины из репьев увлекла нас. Мы строили дороги и сломали два высоких подсолнуха. Потом пришла жена дяди Серафима, тетя Фекла, и накормила нас горячей картошкой...

После обеда мы сидели на крыльце и глядели на дорогу. День, казалось, никогда не кончится. Проехала телега с копной сена, лошадь рывками переставляла ноги и косилась на хозяина; он шел рядом и нес в руке вдвое сложенные вожжи... Прошли мимо дома соседские ребяташки, Чижик и Ванька Картуз.

– Куда это вы? – спросил я их.
 – За камсой в сельмаг мать послала.
 – Пойдем и мы, – сказал Сашка.
 – Нельзя, а вдруг приедут...
 Потом мы вспомнили про балалайку, про струны и забылись работой. А вечером мы снова сидели на лавке и разговаривали.
 – Наверное, сегодня одни будем ночевать, не приедут, – рассуждал я, – до Дрязгов тридцать километров, а лошадь у них плохая; дед Максим им Хохлатку дал, а она от старости ленивая стала...
 Сашка поглядел на меня и двинул носом.
 – А мы как же, одни будем? – спросил он обиженно.
 – Одни, – подтвердил я, – а ты не бойся, наша изба крепкая, как сундук.
 Сашка надул губы и помолчал.
 – Перетерпим ночь, – заключил я твердо, – Аннушку надо лечить, а то она не будет спать, уморится и умрет...
 Сашка вдруг заплакал, как давеча утром, как-то потерянно и отчаянно.
 Солнце село в темное облако, сразу сгустились сумерки, и потянуло прохладой.
 – Пойдем в дом, Сашк, – поежившись, предложил я, – будем про них думать, они почуют и приедут.
 Мы вошли в сенцы, я запер обе двери; на улицу и на двор. Сашка зашел в дом, сел за стол, положил голову на руки и продолжал плакать. Я взял спички и зажег лампу.
 У дома послышалось движение. Я выглянул в окно и закричал:
 – Приехали! – и выбежал в дверь.

Мать входила молча, когда я распахнул двери, она несла Аннушку на руках. Она подошла к сундуку, положила ее на его крышку, развернула и заголосила горестно и отчаянно...

Вошел Серафим Прокопьевич.

– Никому не досталась...

Вошла следом тетка Фёкла. Мы глядели, ничего не понимая, на Серафима Прокопьевича и на тетку Фёклу, на мать и на неподвижно лежащую сестру, и тупой страх нашел на нас, – мы уцепились за материну юбку и зарыдали вместе с ней...

Отец приехал на другой день после похорон Аннушки. Он размашисто шел к дому напрямки, через кукурузное поле. Мать издали увидела его – она целый день сидела и глядела на дорогу – и побежала навстречу. Мы с Сашкой устремились за ней; он отстал, а я бежал за матерью, ничего не видя, слезы застилали мне глаза, кукурузные стебли больно стегали по рукам и лицу...

Осенью мы переехали в город, оставив хутор, домик в три окна, свое детство и сестру...

На ее могилку уже нападали листья, налетевшие с кустов сирени, непроходимо окружающих сиротливый погост...

□

Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН –

поэт, прозаик.

Окончил Литературный институт имени А.М.Горького.

Автор шести книг стихов, прозы и эссе:

«Рождественские загары», «День, ниспосланный Тобой»,

«Временное и вечное», «Искренно только небо»,

«Невидимое присутствие», «Трудности перевода».

Публиковался в альманахах Академии поэзии с 2010 года, в международных сборниках МАПП «Зеркало жизни» и «Планета поэтов».

Член Союза писателей России,

Международной ассоциации писателей и публицистов,

член-корреспондент Академии российской поэзии.

Председатель регионального отделения

Союза писателей России в Липецкой области.

Лауреат Литературной премии имени Евгения Замятина (2011).

Живет в Липецке.

